

ВЛАДИМИР ЯШКЕ

ЗИМНЯЯ МУХА

*Посвящение*

*Посвящается Зимней мухе Клеопатре, в просторечии — Клёпе.*

*Эпиграф 1 ...Когда б не зной, Не комары да мухи!*

*А.С.Пушкин*

*Эпиграф 2*

*О, муха! О рыбка моя!*

*Н. Олейников*

О мухах я ровным счетом ничего не читал, серьезно ими не занимался и потому знаю о них не больше Вашего, если Вы не специальные по мухам ученые.

Зимние мухи, известное дело, сонные, вялые да беспомощные. Однако эта, особо памятная мне, была вопреки всему бодря весела и к тому же в каптерке нашей в котловане по-хозяйски активна и даже нахальна от переизбытка внимания.

Знакомство наше состоялось где-то в декабре 1969 года под Архангельском. Экспедиция бытовала поодаль километрах в двадцати — тридцати, что ли, близь одного из местных лагерей, в бараке для условников. И пока буровые причиндалы не перетаскивали на новое место — в котлован — никто из нас о Клеопатре и слыхом не слыхивал. А в тот первый в котловане день сразу же началась пурга, и мы так ухандохались, перетаскивая штанги, да бревна, да движок, да все прочее, что вышку ставить уже никто и не думал. Мы побросали все в снег и набились в крохотную каптерку, где дежурный зек и один из конвоиров держали в гудящей буржуйке и грели чифир. Без спирта в тех краях выжить было и вовсе невозможно. Как двигаешься в работах — и потеешь даже. Минуту стоишь — леденеешь. Потому — сразу в каптерке — все выпили и расслабились чифиром. И тут я увидел Клёпу. Она, будто бормоча что, деловито копошилась в специальном для нее блюдечке. Блюдечко было слегка надколото, но вполне прилично — с ободком и цветочками, с хлебом и остатками какой-то консервы. Клёпа довольно урчала во всей этой вкусной красоте, такая нелепо здесь уютная да беззаботно домашняя, что дыхание перехватило и заулыбалось и слеза — впрочем, от спирта, верно, — навернулась.

Я, сидя рядом с ней, у оконца, оглянулся. Все угрюмо и с тоской, но вместе и по-детски открыто, улыбались, глядя на нее. Скверно выбритые, красные, помороженные, не из журнала мод, конечно, но светились не только огнем буржуйки в жемчужных каплях тающего льда. С минуту слышен был лишь треск поленьев да шелестенье Клёпиных крыльев и лапок. Пролетел дико и странно, почти до того непредставимо, тихий ангел, верно, нарочно для нас заглянувший сюда, в места не его, вовсе не ангельские. Кто-то вздохнул тяжело и сдержанно. Кто-то опять разлил спирт...

В глубине котлована зеки с конвоем толпились вокруг бешено полыхающего в пурге политого соляной костра.

Всю дорогу к ночлегу, до самого барака, добивались молча, матеря погоду... Через день пурга утихла.

Я был молод, неловок. Я очень старался, но был недотепой: то под лед провалюсь, то ногу подверну, то еще что, но работа есть работа — и, как поставили вышку — ходил

часами, скрип, скрип, скрип — по утопанному кругу или подергивал да мотал на ворот трос, вытягивая буры и стаканы с пробами. Перетаскивали вышку еще куда метров на 10 — и опять копали, долбали кайлом, оттаивали паяльной лампой мерзлоту, и — скрип-скрип- скрип. И опять каптерка, Клёпа, спирт, чифир, дорога, барак, печь, спирт, еда, чай, ночевка. И по новому кругу, «Ты, чай, парень, не от суда подался сюда? Или от алиментов?» — дивились зеки. Не верили, что сам. Уже и сам не верил. Жизнь затягивалась в извечную пургу, в непроглядную двадцатичасовую темень, змеилась бесконечными волчьими петлями в торосах по Двине, и казалось, ничего больше нет на свете: ни Марселей никак ни Сочей, ни Ялт, ни Майям с их Таитями и Багамами, даже Москвы — а названия одни и ничего, кроме этой барачно-лагерно-котлованной беспредельно-никчемной страшной, нудной, а порой и кровавой возни вокруг никому из нас не нужной синюхи или чего там еще было в пробах, отчего руки покрылись язвами и болелось все чаще и безнадежней. И Земля, памятная по образу школьного глобуса, то есть шар земной — был плоский как блин, и имел очертания государственной границы, ЭС-ЭС-ЭС-ЭР. Клёпа была отрадой. Для всех. Чем более хрупкой, тем более верной и желанной. И тем более желанной навечно, навсегда, что жили все эти «навечно» и «навсегда» мгновения, короче не только наших никчемных растоптанных хрупких жизней, но и наших туманных представлений о краткости жизней мушиных. Всегда помня свою собственную «невечность», мы с маньякальным упорством, каждый себе на уме, тщились продлить уж и вовсе невечные Клёпины дни. Подсовывали ей кто во что горазд. Кто печенье, кто сахарку...

Сучьи потрохи — начальство областное — торжественно пообещав Партии и Правительству прокормиться за свой счет, отказалось от всех поставок, а рыбу гнало куда-то за кордон, что ли. И все что было — это чай остаточный, да местная оленина, да спирт по 5, кажется, 70, да старые запасы макарон и круп. От этого питания да жесткого режима надзора не то что вольные, но и условники и цыгане ссыльные чем ближе к весне, тем резвее побежали кто куда. Тем паче, что пошли эпидемии: то гриппы — целым букетом, то цинга, то черт его знает что. Хреново было с едой. Но муху вскладчину прокормить — не проблема, пока есть кому и кого.

И Клёпа раздобрела, разнеслась как на дрожжах. Уже не летала вовсе, а лишь топотала туда-сюда все вытребывая и еды, и внимания. Любила понежиться, где потеплее. Но в печь не лезла — не дура. Соображала. Любила посидеть на подставленной ей руке, поболтать о том о сем. Часами то дремала, то шурала лапками по крыльям — марафет наводила. А то ворчала, казалось, чем недовольная. Но больше балдела. Не помню точно, что было до, а что после Нового года, а самый Новый год, в 00 часов 0 минут мы чуть не замерзли с Махмудкой, добираясь из Архангельска почему-то пешком. Оба пьяные молодые парни, веселые сначала и разухабистые, мы с полпути изрядно поскучнели на 30-ти с лишком градусах мороза, да и мело изрядно. Перед тем Махмудка все советовал мне жениться на его двоюродной сестре — маленькой, егозливой, не без приятности, татарочке в компании, где мы нескучно выпили и закусили перед дорогой. Но все это к истории Клёпы относится мало. А вскоре после Нового года был случай, когда я был наказан ужасом, с тех пор незабываемым, и Клёпа имела к тому отношение самое прямое.

За год до того, не позже, до 69 года то есть, был другой начальник у нашей экспедиции. Я его не знал. При мне он был уже в розыске. Он продал все экспедиционное имущество и ушел в загул — этак, по слухам, где-то на 10 миллионов рэ. Искали его странно, ибо со всей Сибири шли слухи, что он то в Чите, то в Усть-

Илиме — выжрал всю водку, перетрахал всех девок и всем морды побил. У рассказчиков — обычно это были проезжие геологи других экспедиций — при этом горели глаза, они хлопали и потирали себя руками, интимно похохотывали, и не то чтобы одобряли — боже упаси — порицали, конечно, всячески, но как-то уж очень восторженно и страстно, с истомой и откровенно мечтательно порицали, как бы и не порицали вовсе. Вот якобы по вине этого бывшего начальника у нас остался один слабосильный движок, который все ломался да чинился. Потому бурили мы все вручную. А это вам не хрен свинячий — ручное бурение по мерзлоте. Утомленный в один из рабочих дней, как трудно и описать, я отстал от ребят наших и остался в котловане. Они уехали. Уехали и зеки. А я уединился в каптерке с Клеопатрой, буржуйкой, спиртом и чифиром.

Я подбросил сразу дров, открыл тушенку, мазанную солидолом, нарезал хлеб, налил спирту и, накрошив Клёпе хлеба с тушенкой, — выпил. И забалдел. Трещали дрова. Как в детстве. И так же — сугробы за оконцем. И мороз — ощутимо — снаружи. И жар из буржуйки в лицо дышит. И пляшут зайчики по стенам, и мечутся тени. Дома. Я — дома. И Клёпа. Не будь ее, я не решился бы остаться один. Всюду носил я тушь, перо, кисть, бумагу. Чаше бестолково носил. В тот вечер я рисовал. И стихи сочинял. Стихи были плохие, но рисовал я хорошо — до сих пор удивляюсь, как удачно рисовал. Рисунки частью сохранились. Почти ничего из Севера. Все — Крым. И я пил чифир со спиртом, болтал невесть что с Клёпой и рисоваял исступленно и блаженно. И это было хорошо. Я пил и рисовал. Пил и рисовал. Помню, потом еще плакал и жаловался Клёпе на очередную несчастную любовь. Конечно, я напился вдрызг. Очухался я уже в пурге на трассе. Справа — Двина заледенелая. Слева вдалеке мутные резкие огни. Вокруг тьма непроглядная. И — ни единой попутки. Я шел, пел и кричал что Клёпа одна меня понимает, да и то не понимает совсем. Я спотыкался, падал, поднимался и опять шел. И это было хорошо. Но снег шел все гуще, и слепил, и больно рывками бил в лицо, и я стал промерзать. Прорычали надрывно два грузовика. Чуть что не под колеса ломился. Не взяли. Не остановились. Я, помню, засмеялся, сел в сугроб на обочине, привалился к столбу и достал флягу со спиртом. Я снова впал в то знакомое с детства состояние, в котором я видел себя как бы со стороны, и это было в одно время и отрадно, и грустно, и захватывающе жутко. Снова стало тепло и спокойно. Сердце билось ровно. Было приятно. Так в тихой радости попивая понемногу спирт, я, должно быть, задремал, потому что пробудился от надсадного рева и света приближающейся машины, уже с головой ушедший в наметенной вокруг меня новый сугробец. Равнодушный к своей жизни, я все же встал, вышел на дорогу и замахал руками с ощущением, как будто вату разгребаю. Ослепляющий свет фар надвинулся на меня и оборвался за спиной, а мимо меня, воя, прополз длинный металлический вагон рефрижератора и, подмигивая красными габаритами, стал растворяться в пурге. Я опустил руки, глядя ему вслед без всяких мыслей, а как бы просто наблюдая. Взвизгнули тормоза, и мне что-то крикнули невидимые уже за стеной снегопада. Я тут же рванулся на свет и голос и, подбегая, услышал звук отодвигаемого запора. Задние огромные двери вагона с лязгом и скрипом распахнулись, и безлюдная пурга вдруг взорвалась доброй полусотней глоток. Прямо передо мной, высвеченные тусклым светом сверху, сидели, помахивая призывно руками, два конвоира, один с автоматом, другой почему-то с карабином, а за их спинами тянулись сквозь решетку десятки рук и десятки фантазмагорических, с разинутыми провалами ртов, хохочущих, орущих и свистящих физиономий. Я замер в накатившем на меня ужасе и попятился. Все были одеты, как и я, в ватники, треухи,

валенки или сапоги, такие же обмороженные и обветренные. Никто бы не различил меня в этой толпе зеков. Помню, я в секунду представил себе десятка два исходов этой встречи — и все были печальные для меня. Среди вариантов — мое заключение в зону: а кто докажет, что я не умерший вчера доходяга Петров или Сидоров? Был еще вариант сейчас меня расстрелять прямо на дороге — так, в шутку, из куража, от нечего делать. Я рванул назад, пяясь и падая. Конвоиры что-то еще прокричали, потом двери захлопнулись, заревел мотор, и все исчезло в пурге, как фантазмагория, как наваждение какое. Очевидно, шок вернул меня из безразличия к живой жизни. Определенно бы я замерз, останься я в таком равнодушии, согреваясь коварным уютом наметенного вокруг и сверху сугроба. Я вдруг почувствовал озноб, допил остаток спирта и, истратив мерзлыми руками полкоробка спичек, прикурил подмоченную папиросу. Жадно вдыхая теплый дым «Беломора», я с каждой затяжкой возвращался в мир из самого себя. Как-то само собой пошло, по дороге и в ходьбе я согрелся, а через полчаса меня подобрала попутная грузовая пятитонка. Дня через два мне заглохло прямо на работе, я кое-как доплелся до барака и наутро на работу встать уже не смог — это был гонконгский грипп. Грипповали вокруг уже тысячами, и десятками мёрли, и всем было не до меня: эка невидаль грипп. Все ходячие уходили на работу, и я лежал в жару и бреде в промерзлой комнатенке с заледенелым, сантиметров на 10, оконцем, поскольку сосед мой хохол, с посадки за хулиганку и беспробудный пьяница, пил да кидал вальты, а бросить в печь даже готовых дров — и то не удосуживался. Потом он совсем офонарел от спирта, вскакивал по ночам с топором и кидался на меня, а я хватал из-под раскладушки ломик и отбивался как мог, пока ребята из соседних комнат не прибежали на подмогу. Его скручивали, и он затихал, но часа через 3—4 — все повторялось, и так до бесконечности. На работу он и вовсе ходить перестал, и вскоре ему набили морду и выгнали из барака. Но до того он надо мной поизмывался так, что я и сам стал ненормальный от гриппа, страха и бессонницы. В конце концов я стал плевать и гадить кровью, а до торчка ползти было полбарака по заледенелому коридору. Туалет сам по себе был примечателен тем, что в задницу тебе всегда дул снизу ледяной ветер из выпиленной в досках дыры, откуда торчала, возвышаясь над досками, огромная, уходящая на первый этаж сосулька из промерзшего говна и мочи. Так что, скрючившись над ней на обледенелых досках, ты каждую секунду рисковал наткнуться на нее жопой. Признаться, это отрезвляло в любом опьянении. А если рядом садился срать еще кто, то ты краем глаза мог наблюдать, как тот с напряженно серьезной физиономией и выпученными глазами, совершал, попердывая, такие же эквилибристические упражнения, что, верно, и ты сам, силясь не свалиться в страшную дыру с говномочевой сосулькой. Так я болел, болел и уже совсем обессилел и отчаялся. Изо рта у меня пахло помойкой, а зубы вынимались, как папиросы из пачки. Можно было вынуть несколько и вставить назад в распухшие кровоточащие десны. Я этому даже уже и не удивлялся, но устал болеть и как-то, напившись спирту, доковылял километр до больницы.

Больницей был одноэтажный барак, все коридоры которого были забиты лежащими кое-где и прямо на полу умирающими и больными, так что и ступить было негде. Жуткий смрад от крови, лекарств, мочи и хлорки моментально подсказал мне, что мое дело швах, а вдрызг пьяный измученный врач с тоскливыми сумасшедше-собачьими остекленелыми глазами жеванным мертвым голосом мне подтвердил, что да, у меня грипп, а еще и цинга, и геморрой, и он может меня положить, и даже обязан, но здесь я умру быстрее, чем в родном бараке, поскольку сестры и нянечки все

разбежались и он здесь один с двумя фельдшерами, а лекарств нет, и еды не хватает, а больных все приводят, а морг уже давно переполнен, и мертвых складывают в сарае.

Не сильно будет сказать, что я охуел и поплелся назад. Дойдя кое-как до родного барака, я наткнулся в подъезде на нередкую там сцену. Толпа похихатывающих пьяных мужиков ебала по очереди пьяную молодуху. Задранный подол платья светился в полутьме дебелими ягодицами, а за подол дергал, хныча, мальчик лет пяти: «Мамка, кончай ебаться. Пойдем домой, руки замерзли!» Пройти не было никакой возможности, и я сполз на пол и привалился к стене. Не знаю уж, кто сердобольный такой довел меня до моей койки, но очухался я, уже лежа у себя. Лежал я и думал: Клёпа, еб твою мать, где мы оказались? За что ж мы так наказаны, что родились, живем и сдохнем в таком беспросветном ужасе? и т. д. и т. п. И я, поскуливая, часами плакал под вой ветра за окном. И все это было бесполезно и никчемно и неумно, отчего и легче-то не становилось. Ребята наши, видя, что я вовсе скис, как-то меня обиходили, подбодрили: и печку подтопят, и дров навалят целый угол, и тушенки с кашей поднесут, а на запивку и спирту, и крепкого чаю с аспирином. Кто-то принес лук и чеснок, кто-то меду. В общем я оттаял, стал отсыпаться, и молодость брала свое — я креп день ото дня. А уже светило неяркое солнце, и дни удлинлись, и все чаще пьяно, дурманно пахло, как памятно с детства, талым снегом. Я уже выползал на улицу и сидел на завалинке, щурясь слезящимися глазами, отвыкшими от солнца, и вспоминал всякие родные мне места: и Камчатку, и Крым, и Одессу, и Питер, и Москву. И скоро мне должно было исполниться двадцать два года, и я гадал, что там еще у меня впереди, думать не думая, что может быть еще хуже и безнадежнее, чем все то, что было между клинической смертью в начале 1969-го и сегодняшним предвесенним началом 1970 года.

Весна, однако, запаздывала и первые истомные, с намеком на тепло солнечные дни оборвались в бесконечную изматывающую пургу. Мело так, что сносило с дороги и вминало в грязные уже талые сугробы с какой-то остервенелой силой, с яростью, какую трудно по весне где бы то ни было представить. Мы отгуляли всем бараком мое двадцатидвухлетие и снова бурили в котловане и поодаль. Отогреваясь в каптерке, я каждый раз умилялся неутомимой Клёпе, которая, казалось, будет жить вечно вопреки всем законам мушиной своей физиологии. Эта крошечная, изрядно растолстевшая хлопотунья, как и прежде, была беспечна, весела и подвижна, развлекая всех в часы досуга. Все, как и я, полагаю, думали, что если и помрет она, так только разве что от обжорства. Случилось все же иначе. Она погибла, и притом нелепо. За день-другой до ее гибели в один из редких солнечных, так маняще обещающих дней случилось в котловане происшествие, совершенно тоже нелепое. Солнце светило, но почти не грело, и грелись мы у костра вместе с зеками в настроении в большинстве благодушно-бездумном. В тот день даже и говорили-то мало, а говорили — так вполголоса, и все пустяки и между прочим. Трещали обледенелые дрова, и все мы — и зеки, и конвоиры — смотрели почему-то на промерзшую во вздыбленных торосах Двину. С нее шел дух терпкий и томительный. Это расслабляло с легким оттенком какого-то беспокойства. Курили и молчали все, естественно, без известного, тем кто понимает, напряжения, но слегка подавленно, что тоже понятно: все об одном и каждый о своем. Вдруг один из зеков взвизгнул, как-то как это делают женщины, и рванулся через край котлована и шоссе к реке. Казалось, в несколько мгновений он уже бежал по льду меж торосами зигзагом. Это было так нелепо, глупо, и безнадежно, что все оторопели. Быстрее всех очнулся один из конвоиров. Он смахнул с плеча автомат и передернул затвор.

Крикнул: «Стой, еб твою мать!» Секундой позже рявкающий грохот автомата оглушил нас, и так уже растерянных. Из толпы вскочивших зеков бросился их староста и отбил ствол автомата вверх. Второй конвоир отступил шага на два и, передернув затвор своего Калашникова, что-то тоже пролаял матом. Староста зековский сказал: что начальник, не дури — мы сами, и, вызвав трех из толпы зеков, бросился с ними к Двине. Оба автоматчика тут же взяли на прицел всю сцену котлована и Двины. Беглый безумец был уже точкой во льдах. Но вот его догнали и по всему видно, топтали и приволокли окровавленного без сознания. Зеки зло орали ему, что из-за тебя, козел, и т. д. Конвоиры тут же всех увели к машине и увезли. Все это случилось так быстро, что я не успел даже и испугаться, как было бы естественно. В тот день работать мы не стали. Ушли домой, не глядя друг на друга, и к вечеру напились вдрызг.

Дня через два я, еще под впечатлением нелепого этого происшествия, нашел Клёпу на столе в спичечном коробке лапками кверху. Она была подплющена и одно крыло было заломлено за спинку набок. Круглые ее мушиные глазки смотрели даже и у мертвой с тем же веселым и беспечным любопытством. Я аж всхлипнул. Кто-то сел на нее, глупую, заплзшую на лавку. Так мне объяснили. Из коробка, конфетных фантов и бумажек ей сделали потом усыпальницу на подоконнике, и в каптерке стало скучно. Что-то оборвалось. Чего уже не вернуть. Я затосковал. По ночам мне снился цветущий миндаль, голубые лагуны с разноцветными бликами, черные кипарисы длинными языками лизали скалистые склепы, на Тарпан Баире скакали в моих снах мустанги, еще не расстрелянные вояками и местными колхозниками, а над Бабуган Яйлой кружился лохматый черный гриф, выглядывая свое пропитание вдали от приморской суеты до боли знакомых мне каждым камнем в кривых улочках ожерельем по всему побережью разбросанных городков. Я затосковал даже во сне и засобирался домой. Меня уговаривали, соблазняя деньгами, жильем и карьерой, но у меня была своя уже навсегда прикипевшая к сердцу судьба: я хотел рисовать. Уехал я не сразу. Дня три, уже уволившись, — ходил как потерянный. Потом добрался до Архангельска, но билетов не было, и вечером я уехал на «кукушке» по узкоколейке какой-то на станцию с позабытым уже названием. Вагончики этого допотопного поездочка были смешные — с лавками и керосиновыми фонарями. Разношерстное, так же скверно, как и я одетое собрание пассажиров, пило спирт, курило «Беломор» и крепкую махорку в газетных самокрутках, играло в карты и забивало с треском козла, ведя бесконечные — о том о сем — разговоры. Кричали дети, звенели стаканы, клацкали вагонные сцепки, стучали неровной дробью колеса, пыхтел, надрываясь, выдувая пары и клубы черного жирного дыма, наш маленький паровозик, часто и визгливо посвистывая. В далеком полутемном углу кто-то с тоской и куражом рвал гармошку и надсадно пел что-то все знакомое и между прочим — про чубчик кучерявый, который все вьется, вьется на ветру, и что Сибири не боюсь я — это ж тоже русская земля, так вейся, вейся чубчик кучерявый, развевайся, будь весел, как и я.

Все тоже было из детства. Из этого фантазмагорического вагона я попал на столь же нелепо обычную, каких по всей России полно, замызганную станцию. Люди лежали навалом и на лавках, и на кафельном и деревянном полу. В буфете стоял гул, и гульба была в разгаре — дым коромыслом. Засиженные мухами занавески на окнах, залитые соусом, вином и борщом давно не стиранные скатерти, буфетчик, сошедший с картины начала века, с щегольскими усиками в ниточку и волосами на пробор, официантка — шикарная молодуха в несвежем фартуке и замысловатой наколке, с облупленным кровавым на грязных ногтях маникюром и кроваво и жирно напомаженным огромным

ртом — все было свое, родное, давно знакомое, привычное. Двери вдруг распахнулись, и с мороза, грохоча сапогами, зашел патруль моряков в черных бушлатах с красными носами. Молоденький лейтенант, одетый по форме, но в унтах и с вольностью и щегольством дальних гарнизонов, коротко поздоровался и с официанткой, и буфетчиком и тут же у стойки, оглядывая публику, выпил стакан поднесенного неведь откуда (в прејскуранте не было) взявшегося коньяку. Матросы, оставив автоматы и сдвинув набок штыки у пояса, сели за стол, где была табличка «для служебного пользования». Я задремал, не допив своей водки и не доев борща, и проснулся уже к поезду, что шел на Москву через Вологду. До Вологды я дрых без задних ног, а в Вологде в вагон ввалился веселый мужчина, крепкий пьяный, веселый и лохматый, в овчинной кацевейке и песцовой шикарной шапке, и упоил весь вагон голубым, в огромном бутылке литров на 10, с дрожащими бешеными огнями, смрадным, убийственной крепости самогоном. Вывалился я в Москве, еще не протрезвев, и первое, чему удивился, что билет у меня был на число дней пять назад, когда я и уехал, а из поезда я не выходил — что, думаю, за чертовщина — дня три жизни как корова языком слизнула — не мог же поезд идти с Архангельска все пять дней. В Москве все мне стало неуютным. Не знаю почему — от меня если не шарахались, то отстранялись. Когда спрашивали, где был, то потом говорили, что я все вру, такого быть не может и сошел с ума. С особым ожесточением и непонятной мне по сей день неприязню ко мне отказывали мне в правдивости моих коротких, по их же просьбе рассказов, те, что были мне когда-то ближе, и те, что позже назывались диссидентами. Я засомневался в своем рассудке, и опять затосковал и уехал домой в Крым. Там я, устроившись куда-то подрабатывать, людей стал избегать, одичал, отлеживался в скалах у моря, бродил в горах в выходные дни и рисовал что и как придется. Вокруг было все, что я видел в своих Уйменских снах: и теплое море, и цветущий миндаль, и кипарисы, и ялики, и бирюзовые бухты с белыми пароходиками, снующими меж пристанями родного белокаменного города, — и все это было уже как-то посторонним. Во мне сплошной завесой стояла пурга, и я ничего не мог с этим поделать. Я все вспоминал, как в начале 69-го приехал на экзамены в МПИ, на костылях еще, и как, не досдав экзамены, оказался без денег и стал искать работу, пытаюсь ходить без костылей, и как в конце лета, подрабатывая где придется на подхвате, я устроен был по знакомству в эту ГРП, и как радовался грядущим хорошим заработкам и хорошей работе, как в первые дни на Севере бродил по архангелогородским деревянным мосткам близ пристаней и восторгался местным музеем с его иконами, резьбой по кости, бисерной вышивкой, бронзовым литьем и деревянной скульптурой Христа, святых и Богоматери. Я все вглядывался в Уйму, названную так еще Петром, проезжавшим мимо нее строить в Архангельске флот: «Домов-то уйма!» — вспоминал ее на километры вдоль Северной Двины. Старинные, основательные, в два этажа, с подворьями и сараями, бревенчатые, похожие на крепости дома и современные мне бараки для условников, улочки, меж которых сходились через шоссе у лагерных ворот. Вспоминал я ребят наших, с которыми сроднился на те полгода судьбой, и хлебом, и спиртом, и работой: и Махмудку, и Фаридку, и соседей наших условников, с кем делились, чем придется — иначе в тех условиях все бы погибли — и что воровство там было не в чести даже меж воров в законе, и всяк отдавал, не задумываясь, кому нужнее, и кусок оленины, и деньги, и спирт, и табак, и последнюю луковицу, и одеяло, и пиджак, а еда была в коридорах в висячих ящиках, и кому надо — брали—и никогда последнее. Вспоминал, как мы с

начальницей, отправляясь в Москву в командировку с пробами и документами, едва не погибли — у самолета с полпути отказал один двигатель, так и дотянули на одном — чудно даже. Как в Москве я досдавал экзамены и был по доносу одного мудака выгнан из общежития и жил потом на Арбате у родителей З. — нашего главного инженера. Хотели из института исключить — декан читает: прописка в Крыму, прописка в Москве, прописка в Архангельске, родился во Владивостоке, проживаю в Севастополе, учусь в Москве, работаю в Уйме — «Авантюрист!» — кричит. Я говорю: «Вы же меня знаете». — «Да, — говорит он, притихнув растерянно, — знаю — действительно, какой ты авантюрист, ты, говорит, балда, вот на тебя и стучат все кому не лень». «Ну, спасибо», — говорю. Из института тогда все же не поперли. Я привез отличные с Уймы работы, среди них иллюстрации к легендам Крыма, и Андрей Дмитриевич возмутился — его выгонять — да вы с ума сошли! Вот и пойми, кто сошел с ума. Тогда же я был на дне рождения, кажется, у девочки, в которую был влюблен вполне безнадежно. Там пошел провожать впервые мной увиденную рыжую такую, еще не зная, чем обернется в судьбе — рыжих всегда страсть как обожал, потом вернулся и, будучи влюблен в Валюшу, флиртовал с Людмилой, а танцевал с Ниной, за которую потом зверски и получив по морде, уехал назад в Уйму, где мы — то бурили, то ночами, почему-то в тайне, грузили синюхой вагоны — грузили, надрываясь, сами, без грузчиков, с охраной и двумя важными железнодорожниками. Главный инженер наш тоже работал с нами — бред какой-то: ручное бурение по мерзлоте, тайные погрузки — хрен разберешь, что мы там копали. С Белого моря одна из наших экспедиций побежала, не выдержав непосильной работы и голодовки, потом побежали со среднего течения Двины — из глухого обезлюдившего района. Мы держались дольше всех. Уж не алмазы ли вы копали, спросили меня на днях. А я знаю? Какие такие алмазы в таких условиях — в глаза их никогда, алмазов этих, не видывал. Да и потом там какие-то ведь кимберлитовые трубки, а у нас одна вонючая мерзлая синюха. Вспомнился мне наш главный инженер — без него бы хрен кто там работал — он и сам сил не жалел. Он-то, конечно знал, что искали. Позже, после второй клинической смерти, в Пушкинской терапии попались мне две заметки в газете, два приветов из родных мест. В одной сообщали, что какой-то японский адмирал с именем вроде Того-Того продефилировал вдоль Курил с инспекционной целью и изрек, что пора, мол, возвращать. В другой начальник экспедиции (называли нашего главного инженера) удостоен по совокупности работ по Северу и Сибири Ленинской премии. Вот тебе и фунт изюма, думаю: где я, а где мои труды и дни? Был это, однако, уже 1976 год. А тогда весной 1970 года, я видел как наяву нашу заснеженную Уйму, а по выходе из барака, что ни день, то наткнешься на заледенелый труп с ножом, торчащим, как перст из ватника, и черные толпы зеков втекали из лагерных ворот, а лагерь стоял как древнее городище за частоколом из бревен и рядами колючей проволоки, в спиралях Бруно, в вышках с пулеметными ощеренными гнездами, а как снега подтаяли, то всюду проявились в страшных оскалах «подснежники» — и убитые, и просто замерзшие. Еще доцветал в Крыму миндаль, а у меня в глазах стояла беспросветная уйминская пурга, и она застила весь свет, и ничего с этим нельзя было поделаться. Ничего. И опять плакал по ночам и просыпался от собственного крика. Я еще не знал, что вскоре я нелепо влюблюсь, свое двадцатитрехлетие встречу в первом корпусе усиленного режима московской пятнашки, с чего мой негласный от чешских событий волчий билет станет сразу гласным и ни один даже самый вонючий хорек не постесняется ткнуть им мне в мою волчью отныне морду. И присно и во веки веков.



Вот такие дела, Клёпа, зимняя ты моя муха.

Сидела муха на говне  
И тихонько улыбалась мне.  
Уйма, 1969-1970  
СПб, 1992